

Юрий Шабунин

Кодекс VERO



Юрий Шабунин

Кодекс VERO

«Автор»

2026

Шабунин Ю. Н.

Кодекс VERO / Ю. Н. Шабунин — «Автор», 2026

В начале была трещина. Из неё вырвались искры — каждая с двумя половинами: стремлением и покоем. Одни стали Владыками Забвения, другие — Странниками, а третьи — Ткачами, что сплетают разорванную реальность в живой узор. Гераму было пять, когда разбилась глиняная миска — и он впервые услышал, как кричит осколок. Его ладони засветились, а время остановилось. Так пробудился дар, который не просто исцеляет, — он требует выбора между «просить» и «приказывать». Между состраданием и властью. Спустя годы Герам входит в Лабиринт — бездонное пространство чужой боли, памяти и заблудших душ. Там его ждут те, кто не смог отпустить любимых, кто питался чужими жизнями, кто тысячу лет держал в пальцах истлевшую туфельку. Каждая встреча — искушение: присвоить чужую боль, подчинить, остаться. Чтобы пройти этот путь, Гераму придётся не просто собирать осколки, а научиться отпускать — в том числе и собственную тьму.

© Шабунин Ю. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

КОДЕКС VERO	5
Нить и глина.	5
Пролог. Закон стремления	5
Глава 1	8
Осколок тишины	8
Глава 2.	12
Косточка	12
Глава 3.	20
Время как терпение	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Юрий Шабунин Кодекс VERO

КОДЕКС VERO

Нить и глина.

Пролог. Закон стремления



Тишина не была пустотой.

Она была тяжёлой, полной, как старое одеяло, которое помнило тепло сотен зим. Она пахла остывшей золой и мятой, засушенной между половиц. И она ждала.

А потом внутри неё шевельнулось.

Не мысль. Просто — иначе. Жар под рёбрами, от которого трещина пошла по чёрному бархату небытия — тонкая, светящаяся нить. В неё хлынуло всё, что не могло больше оставаться одним.

Из трещины вырвались искры. Каждая пахла по-своему: озоном, мокрой глиной, первым снегом. Позже их назовут VERO. Тогда же они были просто светом, который умчался в ничто, и от его бега ничто становилось пространством.

В том стремлении он впервые познал одиночество.

Искры были разными.

Одни выбрали покой и назвали себя Владыками Забвения.

Другие — вечный поиск, и стали Странниками.

Но были третьи — Ткачи. Они не гасили желание и не бежали за ним — они направляли его, сплетая нити так, что даже боль становилась опорой. Они ушли в Плерому, оставив ключи в душах тех, кто однажды получит не два толчка, а нечто иное.

Так говорят в **Кодексе**.

Так пересказывают жрецы Забвения в сумерках, когда зажигают первые свечи.

В тот вечер у костра сидел мальчик. Угли потрескивали, и каждый выброшенный снопок искр не гас в воздухе — они садились на плечи слушателям, тихо пели и таяли только через минуту. Жрец замолк, давая тишине стать густой, как патока. Потом положил сухую, горячую ладонь мальчику на макушку.

Пальцы жреца пахли не ладаном. Они пахли сушёными яблоками, старой книгой и глиной, которая только что рассталась с водой. Мальчик зажмурился — и сквозь этот запах увидел не трещину и не искры. Он увидел руку. Старую.

В тёмных пятнах, которая гладила глиняную чашку — долго, с нежностью, будто это была щека ребёнка. Чашка была кривой, с отпечатком пальца на дне.

Глина ещё не просохла.

«Это я, — услышал мальчик. — Когда была маленькой. И боялась, что ничего не выйдет. А потом поняла: глина не требует мастерства. Она требует, чтобы её не бросали».

Рука убралась. Чашка осталась стоять — кривая, живая, ещё хранящая тепло.

Жрец убрал ладонь. Мальчик открыл глаза и вдруг заметил: на земле, у ног жреца, стояла глиняная кружка. Простая, без росписи, с выщербленным краем. Он видел, как жрец пил из неё весь вечер, но воды в кружке не убавилось ни на глоток. Не потому, что кто-то подливал. Просто кружка помнила вкус первого дождя, который упал на крышу Храма шестьсот лет назад. И каждый раз, когда жрец прикасался к ней губами, он пил не воду — он пил память о свежести.

— Ткачи не ушли, — сказал жрец тихо, чтобы слышал только этот мальчик. — Они в каждом, кто не бросает. Кто держит чашку, даже если она кривая. Кто помнит лицо, даже если его больше нет.

Он замолчал. Угли догорали, и в темноте слышно было только дыхание слушателей. Кто-то спросил шёпотом:

— Это правда?

Жрец долго молчал. Потом поднял руку — на ладони, на самом сгибе, у него был тонкий серебряный шрам. С ним он родился. С ним он умрёт.

— Это правда, которую мы выбираем помнить.

Он посмотрел на восток, где за горами лежала Долина Спящих Богов. И никто из сидящих у костра не знал, что он там видит. Но там, в темноте, пульсировал свет.

Жрец не говорил — он водил пальцем по воздуху, и там, где проходила его рука, оставался след. Тонкий, золотой, похожий на нить паутины на рассвете. Мальчик смотрел, не дыша.

— Каждая искра, вырвавшаяся из трещины, — двойная. Одна половина — стремление.

Другая — покой. Они не враги. Они — две руки одного тела.

— А если одна пересилит?

— Тогда искра гаснет. Или сходит с ума. — Жрец сжал пальцы, и золотой след пропал. — Поэтому Ткачи учили не выбирать, а держать их вместе. Как чашку двумя руками. Как дыхание — вдох и выдох.

Он помолчал, глядя на догорающие угли. Один уголёк вдруг вспыхнул ярче, подпрыгнул и превратился в маленькую серебряную рыбку, которая проплыла по воздуху и растаяла над головой мальчика.

— Ты запомни это, — сказал жрец. — Когда придёт время выбирать — не выбирай. Держи и то и другое.

Жрец погасил последний уголёк. В полной темноте только его шрам светился — слабо, серебряно. Мальчик, которому жрец положил руку на голову, проснулся ночью от того, что его собственная ладонь горела.

Он поднёс её к свету луны — на сгибе, там, где у жреца был шрам, проступила тонкая золотая линия. И пахло от неё не кровью — сушёными яблоками.

На столе, в углу комнаты, стояла глиняная кружка — кривая, с отпечатком детского пальца на дне. В ней, в самом доньшке, ещё не остыло тепло. Тепло руки, которая не бросила.

Жрец замолчал. Потом медленно повернулся — не к мальчику, не к костру — прямо к тебе. Сквозь время, сквозь чернила, сквозь пальцы, которые держат эту книгу.

— А ты? — спросил он. — Ты думал, ты просто читаешь?

Он поднял руку с серебряным шрамом — и шрам засветился, перетекая со страницы на твою ладонь. Ты физически чувствуешь тепло. А на полях, там, где раньше не было букв, появляется твоё имя. Не Герама. Не героя. Твоё. И тут же одна из чернильных капель сворачивается в крошечного муравья, пробегает по строчке, оставляя за собой золотой след, и исчезает в переплёте.

— Теперь ты тоже часть узора, — сказал жрец. — Можешь закрыть книгу. Можешь отложить. Но нить уже у тебя в пальцах. Ты начнёшь ткать, даже если не захочешь.

Пламя свечи мигнуло — и видение исчезло. Остался только текст.

И странное тепло в кончиках пальцев, которого ты не замечал раньше. И лёгкий, едва уловимый запах сушёных яблок, который не выветрится до самого утра.

Глава 1

Осколок тишины

Тишина опустилась на землю задолго до рассвета. Не обычная ночная — густая, липкая, как патока. Даже сверчки замерли, чувствуя, как земля затаила дыхание.

Герам смотрел, как мать стирает. Мыльная вода стекала по её запястьям белыми дорожками. Пахло тестом и мятой. Он уже хотел попроситься на улицу, но в этот момент глиняная миска на краю стола качнулась. Шагнула в пустоту.

Он почувствовал это раньше, чем увидел. Время стало тяжёлым, как мокрая глина. Мать тянулась к миске, но её рука двигалась слишком медленно. Сама миска падала неохотно — трещина на боку, старая, замазанная глиной, мелькнула перед глазами.

Грохот расколол утро.

Миска ударилась о доски и рассыпалась. Но звук был не тем, каким бьётся глина — живым. Герам прижал ладони к ушам, но звук шёл не снаружи. Сквозь позвоночник, в рёбра, заставляя дрожать.

В этом крике не было боли. Была тоска: когда тебя больше нет, а ты всё помнишь.

Внутри Герама вспыхнуло нечто. Вырвалось наружу, к осколкам, потоком, сметающим всё на пути. Тепло хлынуло из груди, из ладоней, из кончиков пальцев.

— Герам! — Мать опустилась на колени, схватила за плечи. — Остановись!

Но он не слышал. Он видел осколки. Видел, как они тянутся друг к другу, ощупью, вслепую. Каждая песчинка помнила другую, но не могла вспомнить дорогу. И Герам чувствовал их боль — их отчаянное, бессловесное желание снова стать целым.

А потом под этой болью он почувствовал кое-что ещё.

Власть.

Осколки не просто ждали его помощи — они ждали его приказа. Он мог не просто собрать их, а переделать. Сделать миску лучше, чем она была. Изменить её форму, её память, её суть. Он почувствовал, как его воля натягивается между осколками, словно нить, готовая подчинить их себе.

И в этот миг перед его внутренним взором мелькнул образ. Его руки — но не такие, как сейчас: уверенные, сильные — лепили из осколков не миску, а нечто иное. Идеальный сосуд. Без единой трещины, без единого шрама, без памяти о падении. Совершенный. И от этого совершенства веяло таким холодом, что у Герама перехватило дыхание. В сосуде не было жизни. Только форма. Только пустота.

Он отдёрнулся от этого видения, но оно осталось — заноза под веком, которую не вытаскать.

И тогда он услышал шёпот. Тихий, почти неуловимый, но внятный до дрожи.

«Ты можешь всё исправить. Сделать лучше. Ты имеешь право».

Герам не понял, откуда он шёл. Изнутри? Из осколков? Из самого воздуха? Голос был вкрадчивым, ласковым, и в нём звучала древняя, терпеливая уверенность. словно тот, кто говорил, ждал этого мига очень долго.

Осколки дрожали, готовые подчиниться. Ещё мгновение — и он бы...

— Отпусти, сынок!

Мать схватила его за плечи и встряхнула так, что зубы клацнули. На секунду их глаза встретились — и Герам увидел в её взгляде не просто страх. Ужас. Ужас перед тем, что на миг промелькнуло в его собственном взгляде.

И вместе с ужасом — странное, острое чувство: раздражение. Короткая, как укол, вспышка. «Зачем ты меня остановила? Я же мог... я же почти...» Она погасла тут же, захлебнулась стыдом, но оставила после себя крошечный, тлеющий уголёк.

Этот ужас отрезвил его. Он моргнул — и власть схлынула, оставив после себя только пустоту и стыд. И боль. Много боли.

Тепло всё ещё струилось из его ладоней, но теперь оно было другим — не приказным, а просящим. Не «стань, как я хочу», а «стань, какой ты была».

— Отпусти, — прошептала мать уже тише. — Ты не может им приказать. Ты можешь только попросить.

Герам закрыл глаза. В темноте под веками кипело. Тысячи крошечных огоньков металась, каждый тянулся к другому, но не мог дотянуться — их разделяла пропасть.

И он уже не приказывал им. Он просил. Он показывал им дорогу.

Вот здесь. Вот так. Вы помните. Вы всегда помнили.

Искры прислушались. Потом медленно потянулись друг к другу — сначала робко, потом всё смелее, вспоминая древний танец. Края излома сомкнулись, и по телу Гермара прошла волна жара, а в ушах зазвенело — тонко, чисто, как колокольчик на шее у козы, бегущей домой.

А потом тьма накрыла его — не пустая, а полная образов, голосов и запахов, которые вцепились в него и не отпускали три дня.

Он падал сквозь бесконечный коридор, сплетённый из нитей. Одни нити светились золотом и тянулись друг к другу, как руки, ищущие объятия. Другие были тёмными, рваными, и там, где они касались золотых, свет гас. Нити танцевали, сплетались в узор, который всё время распадался, и Герам понимал: если он не удержит этот узор, всё рассыплется.

Перед ним возникла тень. Без лица, без глаз, но он знал, что она смотрит. Тень протянула ему руку — и он почувствовал, как от этой руки веет покоем.

Не тем, который даёт отдых, а тем, который забирает желания. «Ты можешь быть сильным, — шептала тень. — Не проси — приказывай. Это не больно. Это легко».

Он хотел отшатнуться, но не мог. Тень подступала ближе, и с каждым её шагом золотые нити вокруг тускнели.

А потом из темноты вылетели птицы. Глиняные, кривые, с отпечатками детских пальцев. Они кружили вокруг него, заслоня от тени, и он слышал их немую песню. Но когда он протягивал к ним руки, птицы рассыпались в пыль. Одна за другой. Он пытался удержать их — и не мог. Чем крепче он сжимал пальцы, тем быстрее они исчезали.

Запахи менялись. То пахло сушёными яблоками и воском — успокаивающе, знакомо. То вдруг накатывал запах мяты и дыма — и становилось душно, тесно, как в комнате, из которой ушёл воздух.

И всё это время он чувствовал тепло. Не внутри — снаружи. Кто-то держал его за руку. Держал крепко. Не отпускал. Это тепло было единственным, что не давало тени поглотить его.

Он цеплялся за него, как утопающий за верёвку, и шептал пересохшими губами: «Не уходи. Пожалуйста, не уходи».

Три дня он боролся. Три дня она не разжимала ладони.

Очнулся он на лежанке. В комнате пахло уксусом. Голова раскальвалась. Даже тусклый свет из окна резал глаза.

— Не двигайся, — мать сидела рядом, держала его руку. Ладонь дрожала. Та самая, что не отпускала его все три дня. — Ты отдал слишком много.

— Миска...

— Цела. Собралась.

На столе, на том же месте, стояла миска. Тонкая золотая нить на боку пульсировала, как заживающая царапина. Но что-то в ней было иначе. Герам пригляделся: старая трещина, замазанная глиной, исчезла. Вместо неё по краю шёл новый, едва заметный узор — не тот, что

был раньше. Миска действительно стала другой. Не такой, какой он хотел её сделать в тот миг, но и не такой, какой она была до падения.

Он попытался заговорить — и не смог. Не от слабости. От того, что в голове, в той самой тишине, где раньше гудели голоса, теперь стояла странная, звенящая пустота. Словно кто-то открыл окно в комнате, где слишком долго было душно.

— Три дня, — сказала мать. — Ты был без сознания три дня. Я думала, ты не вернёшься.

Он молчал. Смотрел на свои руки. На них, под тонкой кожей, ещё пульсировали золотые линии — неярко, как тлеющие угли. Но он чувствовал, что это не его руки. Или его, но другие. Те, которые почти приказали. Те, которые держали птиц, пока те не рассыпались.

— Он шептал мне, — сказал он наконец. Голос был чужим — сиплым, будто он не говорил несколько дней. — Тот, кто обещал, что я могу всё исправить. Тень.

Мать побледнела. Отвела взгляд.

— Ты видел то, что видят все, кто касается дара впервые. — Она замолчала, подбирая слова. — Но ты ещё и слышал его. Тех, кто ждёт. Это не у всех бывает.

— Кто он?

— Не знаю. — Она покачала головой. — Те, кто помнит, говорят: это голос пустоты. Он был всегда, даже до первой трещины. Он не злой. Он просто не помнит, что такое быть. Он устал. И он предлагает покой. Лёгкий, быстрый. Ты только что от него отказался. Не понимая, что делаешь.

Герам смотрел на неё. В груди, там, где ещё недавно кипела власть, теперь было холодно. И тихо.

— Ты знала, что это случится? Что я услышу его?

— Знала. — Она не отвела взгляда. — И боялась. Боялась, что ты согласишься. Что ты станешь тем, кто приказывает.

— Но я не согласился.

— Ты не согласился, — повторила она. — Но ты хотел. Ты уже почти согласился. И это не прошло бесследно. Оно осталось. Не в твоих руках — в твоей памяти. Теперь ты будешь помнить, каково это — хотеть приказать. И это хорошо. Потому что иначе ты бы не понял, зачем просить.

Она помолчала, потом добавила:

— Бабка говорила: невыплюнутая косточка прорастает сорняком. Ты её ещё не выплюнул. Но ты её почувствовал. Это начало.

Герам смотрел на неё. Хотел спросить ещё о чём-то, но слова не шли. Он просто лежал и слушал, как в комнате становится тише. Сначала затихли звуки. Потом запахи. Потом — свет.

В дверь никто не постучал. Она просто отворилась сама.

На пороге стоял Риши. Не старик — человек. Обычный, усталый, без посоха. Он опирался рукой о косяк, и Герам заметил, что косяк под его пальцами слегка светится — слабо, едва заметно, как тлеющий уголёк.

Риши посмотрел на миску. Потом на Герاما. Потом на мать.

— Он слышал, — сказал он. Не вопрос — утверждение.

— Слышал.

— И не ответил?

— Не ответил.

Риши подошёл к лежанке. Опустился на корточки, чтобы быть на уровне глаз Герاما. От него пахло сырой глиной и чем-то ещё — сладковатым, древним, как память о первом дожде.

— Ты не ответил, — повторил он. — Это либо мудрость, либо случайность. Сейчас ты сам не знаешь, что именно. Но это не важно. Важно то, что ты уже сделал первый шаг. Теперь ты не сможешь не слышать тех, кто кричит. Ты слышал миску. Ты слышал тень. Ты слышал его. А теперь ты будешь слышать всё остальное. Это дар. И это проклятие. Выбирай.

Он не стал ждать ответа. Просто взял с пола маленький кусочек глины — серый, неровный, с вкраплениями золотистых крупинок — и положил его на ладонь Герама.

— Это не амулет. Это якорь. Он не защитит. Он не поможет. Он просто будет лежать у тебя в кармане. И когда ты забудешь, кто ты есть, он будет напоминать тебе, что ты — тот, кто не ответил. Это всё, что у тебя есть.

Он поднялся, не оглядываясь. Ушёл так же тихо, как пришёл.

Дверь закрылась без скрипа.

Герам лежал, сжимая в кулаке кусочек глины. Тот был холодным. И не стал теплее от его пальцев. Час спустя — тоже.

Он понял: Риши не дал ему ничего. Он просто оставил его с тем, что у него уже было. Собственной тишиной. Собственной памятью о том, как он почти согласился. Собственной невозможностью ответить.

Мать не плакала, когда он уходил. Она стояла на крыльце, сложив руки на груди, и смотрела на восток, где за лесом начинался Храм. Смотрела не на него — сквозь.

— Вернись, — сказала она. Не попросила — просто поставила перед фактом.

— Вернусь.

Он пошёл по дороге. В кармане лежал камень Риши. Холодный. Молчаливый. И в груди — тишина, в которой ещё не было голосов, но уже зрела готовность их услышать.

Он не знал, куда идёт. Знал только, что не может остаться. Не потому что его гнали — потому что в доме, где стояла собранная миска, он вдруг стал чужим.

Не матери — себе.

Через час, когда дорога нырнула в лес, он заметил, что камень в кармане перестал быть холодным. Он стал просто камнем. Без тепла, без холода. Словно Риши не дал ему ничего, кроме самого себя.

Герам остановился. Сжал камень в кулаке. Он не чувствовал в нём ни силы, ни защиты, ни даже памяти. Только собственную ладонь.

— Это всё, что у меня есть, — прошептал он.

Он не знал, кому это говорит. Себе? Камню? Тому, кто ждал за лесом? Ветра не было. Тишина стояла полная, тяжёлая, как старое одеяло.

И вдруг — в этой тишине, на самой её границе, он услышал нечто.

Не голос. Не звук. Просто — присутствие. Оно было там. За деревьями. Ждало. Не звало, не шептало — просто было.

Герам замер. Он понял, что только что услышал то, чего никогда не слышал раньше. Не микроциклы, не крик разбитой глины. Тишину, которая умеет ждать.

— Ты будешь моей? — спросил он вслух.

Тишина не ответила. Но он почувствовал — она согласилась.

Он пошёл дальше. Камень в кармане был холодным. Руки были тёплыми.

А впереди, в той тишине, которую он только что выбрал, его ждали голоса. Те, которые он не слышал, но которые уже знали его имя. Не Герам. Другое.

То, которое он должен был найти сам.

И он был готов. Не к тому, что знал. К тому, что ещё предстояло узнать.

Глава 2.

Косточка

В то лето черешня в саду у бабки Мауриньё уродилась на славу. Герам видел её каждый день, когда ходил к ручью: тёмно-бордовые, почти чёрные ягоды свисали с веток тяжёлыми гроздьями, касались плетня, перевешивались через него. Они пахли даже на расстоянии — густо, сладко, обещанием лета. Этот запах просачивался сквозь щели в заборе, смешивался с утренней прохладой и висел над дорогой, дразня.

Бабку Мауриньё в селе боялись. Говорили, у неё глаз тяжёлый, язык — как серп, а сама она помнит времена, которых никто уже не помнит. Дети обходили её дом по большой дуге, взрослые крестились, проходя мимо. Гераму же до этого не было дела. Для него существовала только черешня.

Утром мать возилась с тестом — откидывала его мокрыми руками, складывала, снова откидывала, и каждый удар о доску отдавался в доме глухим, сытым звуком. За окном орал петух, где-то за огородом скрипел колодец — соседка тащила ведро.

Герам чистил картошку, сидя на лавке, кожа лентами падала в миску, и он смотрел не на нож, а на окно, за которым виднелась верхушка бабкиного сада.

— Не ходи туда, — сказала мать, не оборачиваясь. — Знаю, о чём думаешь.

— Я не думаю.

— Думаешь. У неё сад не для чужих.

— А она мне не чужая.

Мать обернулась. На её лице мелькнуло что-то — не гнев, скорее усталость пополам с тревогой.

После того, что случилось с миской, она боялась за него иначе — не так, как боятся за ребёнка, который может разбить коленку. Так, как боятся за того, кто носит в себе огонь и ещё не знает, что огонь может не только греть.

— Она ни для кого не свой, Герам. У неё своя жизнь. Не лезь.

Он кивнул, дочистил картошку, вытер нож о штаны. А через час, когда мать ушла к колодцу, выскользнул за калитку.

Плетень у бабкиного сада был старый, кое-где подгнивший. Герам знал в нём дыру, прикрытую лопухами, — проходил там прошлым летом, когда ягоды были такими же спелыми. Он прижался к земле, просунул голову, потом плечи, потом весь, обдирая локти о сучья. Сердце колотилось где-то в горле.

Внутри сад казался запущенным и густым. Трава доходила до колен, кусты смородины разрослись, переплелись, загородив дорожки. Яблони стояли старые, корявые, с наростами на стволах, как старческие руки. Пахло здесь не только черешней — прелыми листьями, сушёной мятой, чем-то ещё, кисловатым и острым, от чего щипало в носу.

Герам пробирався к дереву, которое помнил с прошлого года, — оно росло у самого плетня, ветки его нависали над дорогой, и с них можно было рвать, почти не залезая. Ягоды висели низко, чёрные на просвет. Он схватил горсть, отправил в рот, и сок брызнул, тёплый, липкий, растёкся по подбородку. Косточки он выплёвывал в крапиву — там они будут лежать до следующей весны, а может, и прорастут новыми деревьями.

Он ел жадно, быстро, не разбирая вкуса, пока живот не начал ныть от сладости.

Одна ягода — самая мелкая, скользкая — проскочила мимо зубов, не разжёванная, и скользнула по языку куда-то вглубь, в горло, и пропала.

Герам замер. Горло сжалось. Он попытался кашлянуть — вышло сипло, с присвистом. Стукнул себя кулаком в грудь — бесполезно. Косточка застряла где-то глубоко, царапала изнутри, и каждый вдох давался с трудом, будто в груди захлопнулась дверца и ключ остался с той стороны.

Мир поплыл. В ушах зашумело, перед глазами замелькали чёрные точки. Он вывалился из-под плетня обратно на улицу, хватая воздух ртом, из которого не вылетало ни звука. Ноги подкосились, он упал на колени, ободрав ладони о гравий. Лицо горело, кожа стала горячей, а губы — холодными.

— Ма-а-а... — выдохнул он, но крик не получился. Только хрип. Страшный, умирающий хрип.

Он побежал. Не помнил, как. Ноги несли сами, мимо чужих домов, мимо колодца, мимо бабы Зои, которая что-то крикнула ему вслед. Он влетел в дом, налетел на стол, уронил миску с картошкой.

Мать глянула на него и всё поняла без слов. Лицо у неё вмиг стало таким же белым, как у него.

— Герам! — она схватила его за плечи, заглянула в глаза. — Герам, дыши!

Он мотал головой, хватал ртом воздух, но лёгкие не слушались. В груди что-то заклинило, и каждый вдох выходил короче предыдущего. Он видел, как мать трясёт его, что-то кричит, но слова не доходили — только шум, гул, и всё темнело по краям.

А потом на пороге выросла бабка Мауриньё.

То ли мимо шла, то ли по воду, то ли услышала шум — Герам так и не узнал. Она вошла, толкнув дверь плечом, и сразу к нему. От неё пахло луком, сушёной мятой и ещё чем-то острым, горьким — этот запах потом ещё долго мерещился ему по ночам.

— Держи его! — рявкнула она, и мать, не думая, подчинилась.

Герам оказался перегнутым через колено, вниз головой, беспомощный, как тряпичная кукла. Бабка принялась колотить его по спине тяжёлой, сухой ладонью.

Раз. Другой. Третий. Больно. Очень больно. Каждый удар отдавался в груди, в рёбрах, в позвоночнике, и Герам чувствовал, как косточка поднимается, царапая горло изнутри, но не вылетает.

Он бился, пытался вырваться, но они держали мёртвой хваткой. Ему казалось, что его душат. Что эти две женщины — его мать и страшная чужая бабка — хотят сделать ему ещё хуже. Что это наказание за то, что лазил в чужой сад.

Перед глазами всё поплыло, потом потемнело. Он перестал чувствовать руки, потом ноги. Только слышал, как мать кричит — далеко, сквозь толщу воды, — и как бабка кряхтит, и как что-то хрустит в груди.

Удар. Ещё удар. Воздух со свистом ворвался в лёгкие, и Герам закашлялся, согнувшись пополам, выплёвывая слюну, желчь, что-то ещё.

Косточка вылетела вместе с кашлем, маленькая, тёмная, ничем не примечательная, и покатилась по грязному полу, оставляя за собой мокрый след.

Он дышал.

Жадно, глубоко, со всхлипом, и слёзы текли по щекам, и он не мог их остановить.

А потом он заорал.

Он орал так, как не орал никогда в жизни. Всю боль, весь страх, всю унижительную беспомощность он выплеснул в крике, который разорвал тишину дома и, наверное, долетел до самого Храма. Он бил ногами по полу, молотил кулаками по доскам, и мать не могла его унять — только прижимала к себе, а он вырывался, отталкивал её, кричал.

— НЕНАВИЖУ! — орал он, задыхаясь, размазывая по лицу слёзы и сопли. — ОБЕИХ НЕНАВИЖУ! ТЫ ЗЛАЯ! — ткнул он пальцем в мать. — И ТЫ ЗЛАЯ! — выкрикнул он бабке Мауриньё, которая, тяжело дыша, выпрямилась и вытерла пот со лба.

Мать застыла, опустив глаза. А бабка... бабка не ответила. Не наорала в ответ, не выгнала его, не прокляла. Она только посмотрела на него долгим, странным взглядом, и в этом взгляде было что-то такое, отчего крик застрял у Герама в горле во второй раз за этот день.

Потом она развернулась и вышла. Молча.

В ту ночь Герам не мог уснуть.

Он лежал на своей лежанке, смотрел в тёмный потолок и чувствовал, как где-то в груди, под рёбрами, ворочается что-то тяжёлое и горячее. Сначала он думал — стыд. За то, что лазил в чужой сад. За то, что накричал на мать. За то, что обозвал злой ту, которая спасла ему жизнь.

Но потом, когда дом затих и мать перестала ходить по кухне, он услышал другое.

Сначала ему показалось — ветер. Но ветер в это время года не завывает: он ласкает листву, шепчется с травами, спит в щелях ставен. Этот звук был иным. Он шёл не снаружи — изнутри. Из того самого места, где час назад стояла бабка Мауриньё и смотрела на него странным, долгим взглядом.

Герам сел на постели, прислушался. И вдруг понял: он слышит не звук. Он слышит тоску.

Она вползала в него, как змея, холодная и скользкая, сворачивалась под рёбрами, давила на лёгкие. Он попытался вдохнуть — грудь сжалась, не пуская воздух. Горло перехватило. Он судорожно вцепился в одеяло, и в тот же миг его вырвало — прямо на пол, жёлчью и кислой слюной. Мать вскочила, подбежала, но он оттолкнул её, не в силах объяснить, что это не его, не его.

— Не подходи, — прохрипел он. — Это не я. Это она. Это она болит.

Мать замерла на месте, глядя на него широко раскрытыми глазами.

А тоска всё лезла и лезла. Она была похожа на ту, от миски, но в тысячу раз сильнее. Это был не крик разлуки — это был крик существа, которое помнило всё. Помнило, как его боялись, обходили стороной, крестились за спиной. Помнило годы одиночества в доме, где никогда не пахло хлебом — потому что не для кого было печь. Помнило каждый камень, брошенный в окно, каждое «ведьма», сказанное шёпотом, каждую детскую руку, отёрнутую от её ладони.

И сегодня, когда этот мальчишка, которого она вытащила из горла смерти, назвал её злой. Эта тоска, которую она носила в себе всю жизнь, вдруг обрела голос.

Герам сжался в комок, обхватив колени руками. Его трясло. Зубы стучали, по спине катился холодный пот, и он никак не мог согреться, потому что эта тоска была ледяной.

Она вмерзала в него, впивалась, не хотела уходить.

А потом тоска изменилась. Она перестала быть просто болью — она стала памятью. Памятью о каждом лице, которое отворачивалось от бабки Мауры. О каждом шёпоте за спиной. О каждом камне, брошенном в её окно.

И вместе с этой памятью в Герама хлынула ярость.

Чужая. Страшная. Праведная.

Он увидел лица. Не размытые тени, а конкретные лица. Вот мельник, который три года назад сказал, что у Мауры «дурной глаз». Вот его жена, которая плюнула через левое плечо, когда бабка проходила мимо. Вот деревенские дети, которые дразнили её и разбежались с визгом.

Герам знал их всех. Он вырос с ними. Играл с их детьми. Ел их хлеб.

А теперь он хотел, чтобы они замолчали. Навсегда.

Это желание было не его — оно пришло вместе с тоской, вползло в него, как яд, и растеклось по жилам. Но Герам не мог отделить себя от него. Оно было слишком сильным, слишком... справедливым.

Разве не заслужили они наказания? Разве не заслужили они почувствовать ту же боль, что чувствовала она?

Он представил, как выходит на улицу. Как поднимает руку — и его дар, тот самый свет, которым он собирал миску, превращается в оружие. Он мог бы заставить их онеметь. Мог бы сделать так, чтобы они забыли имена своих детей. Мог бы...

Мог бы приказать.

Это слово вспыхнуло в сознании, как искра. И тут же перед глазами встала мать — её лицо в тот миг, когда он собирал миску. Её ужас перед тем, что на секунду промелькнуло в его взгляде.

«Если ты хоть раз прикажешь — ты станешь Владыкой».

Герам замер. Ярость всё ещё кипела в нём, но теперь он смотрел на неё со стороны. Не как на свою — как на чужую. Как на болезнь, которую он подхватил.

— Это не моё, — прошептал он. — Это её боль. Её обида.

Её право на ненависть.

Не моё.

Ярость не ушла — она затаилась, продолжая пульсировать где-то под сердцем. Но Герам перестал её кормить. Он перестал представлять лица обидчиков. Вместо этого он закрыл глаза и вспомнил миску. Тёплую, живую, собранную не приказом, а просьбой.

— Я не судья, — сказал он в темноту. — Я не могу их наказывать. Я могу только... быть рядом.

Тоска в ответ вздрогнула. Не ослабла — удивилась. Как будто та, кто носила её полвека, впервые услышала, что кто-то не хочет мстить. Кто-то просто хочет сидеть рядом и молчать.

Герам лёг на спину, всё ещё дрожа, но уже не от ярости — от усталости. Мать подошла, опустила рядом, положила ладонь ему на лоб.

— Ты справился, — прошептала она. — Я видела. Ты мог ударить — и не ударил.

— Ещё нет, — ответил он. — Я всё ещё слышу их. Тех, кто её обижал. Я всё ещё... — он осёкся.

— Что?

— Я всё ещё хочу, чтобы они замолчали. Это неправильно?

Мать долго молчала. Потом провела рукой по его волосам.

— Это по-человечески. Дар не делает тебя святым. Он делает тебя уязвимым. Ты чувствуешь чужую боль так же остро, как свою. И чужую ярость — тоже. Но между чувством и действием есть зазор. И в этом зазоре живёт твой выбор.

— А если я когда-нибудь не удержусь?

— Тогда ты будешь знать, каково это — ошибиться. И пойдёшь дальше. Как я. Как Риши. Как все, кто нёс этот дар до тебя.

Герам закрыл глаза. Внутри всё ещё пульсировала чужая обида, но теперь она была тише. Как будто бабка Маура, сама того не зная, услышала его безмолвное «я с тобой» и немного успокоилась.

Утром он проснулся от запаха пирогов.

Он выскочил во двор, ещё не понимая, что происходит. На крыльце, на лавке, стояла корзина, накрытая чистым рушником.

В корзине были пироги — горячие, румяные, с черешней. А сверху лежала маленькая записка, выведенная дрожащей, старческой рукой:

«Ешь, пока горячие. И больше в сад не лезь — угощать буду».

Герам взял записку, повертел в руках. Буквы были неровные, кое-где смазанные — будто рука дрожала, когда их выводили.

Он посмотрел в сторону дома бабки Мауриньё. Старуха сидела на завалинке, грелась на солнце и, казалось, не замечала его. Но Герам видел: её плечи были напряжены, а руки сжаты в кулаки. Она ждала. Боялась. Не знала, как принять то, что случилось ночью.

Он взял из корзины один пирог. Надкусил — тесто было мягким, начинка сочной, сладкой. Он жевал и смотрел на бабу. Она не оборачивалась.

Тогда он спустился с крыльца, пересёк двор, открыл калитку. Прошёл через дорогу, толкнул её калитку — та со скрипом отворилась.

Вошёл во двор, где пахло сушёными травами и старостью, подошёл к завалинке и сел рядом.

Бабу Мауриньё вздрогнула, но не отодвинулась.

— Спасибо, — сказал Герам.

Она молчала. Долго. Так долго, что он успел съесть пирог, облизать пальцы и подумать, не уйти ли.

— Ты глупый, — сказала она наконец. Голос был хриплым, будто она не спала всю ночь. — Суёшься туда, куда не просят. Исцелять меня вздумал. А я не хотела. Не просила.

— Я знаю.

— Я злая, — сказала она. — Я и есть злая. Нечего меня жалеть.

Герам посмотрел на её руки. Старые, в тёмных пятнах, с узловатыми пальцами, которые когда-то лепили горшки, растили сад, стирали, месили тесто. Которые никто не держал очень долго.

— Вы не злая, — сказал он. — Вы просто... одна. — Он помолчал, вспоминая ночную ярость, которая всё ещё тлела в нём. — И вы имеете право злиться. На тех, кто вас обижал. Я... я чувствовал это. Всю ночь. Это было страшно.

Бабу замерла. Медленно повернулась к нему. В её глазах блеснуло что-то — не злость, не обида. Удивление.

— Ты... чувствовал?

— Всё. Каждое слово. Каждый камень. Я даже хотел... — он осёкся, не зная, стоит ли говорить. Но бабу смотрела на него так, будто ждала именно этих слов. — Я хотел наказать их. Тех, кто вас обижал. По-настоящему. У меня хватило бы силы.

Бабу Маура долго молчала, глядя на него. Потом вдруг усмехнулась — сухо, по-стариковски, но в этой усмешке не было злости.

— И не наказал?

— Не наказал.

— Почему?

— Потому что это не моё. Ваша боль — ваша. Ваша обида — ваша. Я могу быть рядом, но я не могу за вас мстить. Это было бы... приказом. А я обещал себе больше никогда не приказывать.

Бабу смотрела на него, и в её глазах медленно, как вода сквозь песок, проступало что-то новое. Не благодарность — понимание.

Будто она впервые увидела в нём не просто сопливого мальчишку, а кого-то, кто носит в себе тот же огонь, что и она. Огонь, который может греть, а может сжигать.

— А ты, значит, добрый? — спросила она. — Всю мою тоску на себя принял. Теперь она твоя. На всю жизнь. Доволен?

Герам покачал головой.

— Не доволен. Просто... так вышло.

Она долго смотрела на него. Потом вдруг усмехнулась:

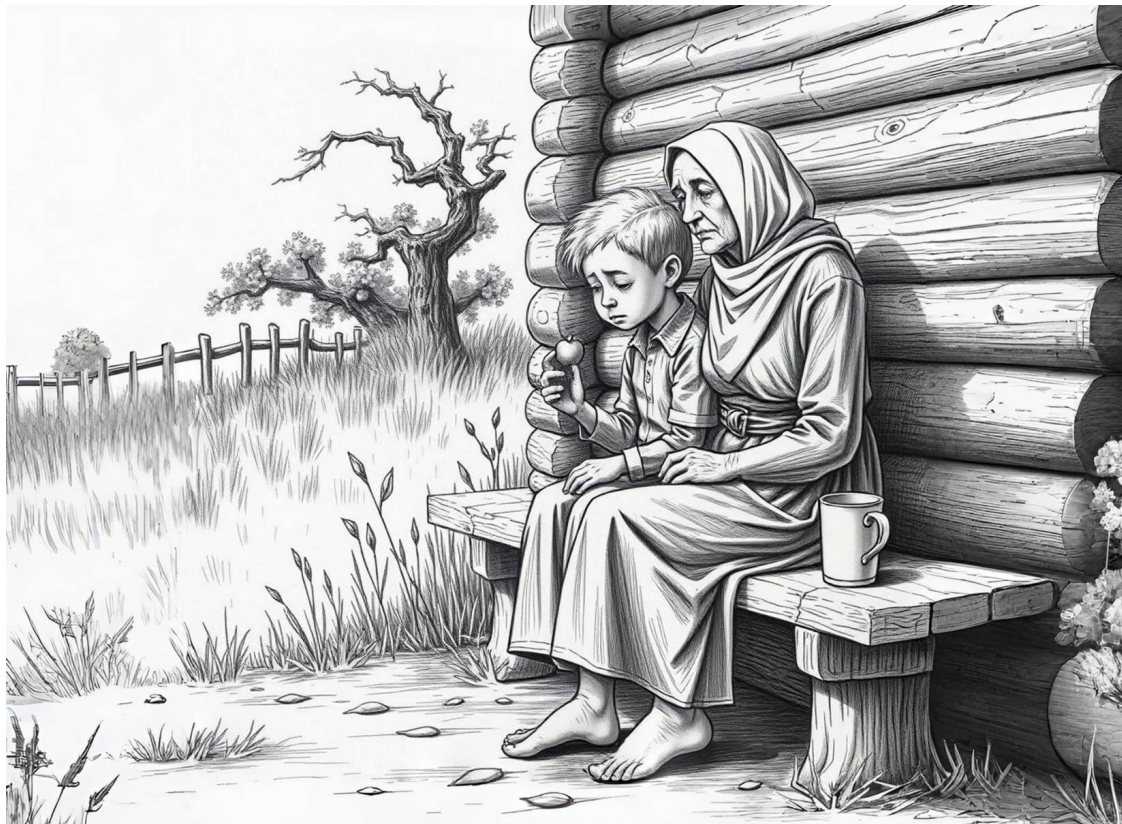
— Иди уже. Пирог стынёт.

Он встал, пошёл к калитке. На пороге обернулся.

— Баб Мауриньё, — сказал он, — а можно я буду приходить к вам просто так? Не за черешней. Просто... сидеть. Молчать. Если вы разрешите.

Она смотрела на него долгим, пристальным взглядом. Потом перевела глаза на дом Герамы, где мать стояла в проёме калитки и смотрела на них.

— Приходи, — сказала бабка. — Молчать вместе легче, чем одной. И злиться вместе — тоже легче. Может, научимся не давать этой злости нас съесть.



Через неделю Герам пришёл снова. Сел на завалинку, молчал. Бабка вынесла кружку молока, поставила рядом. Они сидели, глядя на сад, где уже осыпалась черешня, и ветки стояли голые, усталые. Яблоня — та самая, старая, корявая — ещё держала несколько жёлтых листьев.

Герам смотрел на неё и вдруг почувствовал, как внутри бабки, где-то глубоко, дрогнуло что-то тёплое. Не тоска — другое. Он не понял, что это, просто ощутил, как воздух между ними стал плотнее, а запах сушёной мяты — острее.

Бабка замерла, уставившись на яблоню. Герам почувствовал, как сквозь неё, как сквозь туман, проступает чужое тепло. Он увидел мужчину — молодого, с закатанными рукавами, тот срывал яблоко и бросал вверх, маленькой девочке, которая визжала от восторга. Девочка поймала, укусила, и сок брызнул на платье. Женщина — бабка Маура, но молодая, смеющаяся — вытирала пятно и притворно ругалась.

Мужчина обнял её, прижал к себе, и Герам услышал, как она шепчет: «Я люблю тебя. Даже когда ты дурак».

Картинка растаяла, как дымок над трубой. Бабка тяжело вздохнула, пошевелила пальцами на коленях.

— Тот самый, — сказала она, не глядя на Герاما. — Дед твоего деда. Утонул в половодье. А яблоня до сих пор плодоносит. Каждый год. Как будто ждёт.

Герам молчал. В горле пересохло. Он понял, что только что увидел не случайное видение — он увидел то, что бабка носила в себе все эти годы. Не тоску — любовь. Самую живую, самую острую, которая не умирает, даже когда тело уже остыло.

— Вы поэтому не ушли из этого дома? — тихо спросил он. — Потому что она ждёт?

— Не она. — Бабка кивнула на яблоню. — Я жду. Что однажды приду в сад, а он будет стоять под деревом и смеяться.

Как тогда.

Глупо, да?

— Нет, — сказал Герам. — Не глупо.

Она посмотрела на него. В её глазах блеснуло что-то мокрое, но она не вытирала.

— Ты первый, кто это увидел. Даже муж не видел — только я. А ты увидел. И ты первый, кто почувствовал мою злость и не испугался.

— Я испугался, — честно сказал Герам. — Очень.

— Но не ушёл. — Она усмехнулась. — Выходит, ты не зря пришёл. Может, затем, чтобы я не просыпалась в страхе. Может, затем, чтобы молчать вместе.

Они сидели на завалинке, смотрели на сад, и в этом молчании было что-то, чего Герам не мог объяснить словами. Не тепло. Не свет. Просто — присутствие. То самое, которое он послал ей в ту ночь. Которое оказалось сильнее ярости.

И этого было достаточно.

Он приходил к ней всё лето. Иногда помогал по хозяйству — носил воду, колол дрова. Иногда слушал её рассказы о травах, о временах, когда камни помнили путь домой. Иногда они просто сидели на завалинке и смотрели, как сад засыпает к осени. И каждый раз, когда в нём поднималась тень чужой обиды — а она поднималась, опять и опять, — он учился держать её, не позволяя превратиться в желание мести.

Однажды, уже в конце августа, бабка протянула ему горсть черешни — последнюю, мелкую, но сладкую.

— Ешь, — сказала она. — И запоминай. Слова — они как косточки. Проглотишь не то — застрянет на всю жизнь. А выплюнешь с теплом — глядишь, и прорастёт. Но есть и третье: если слишком долго носить в себе чужую косточку, она может прорасти не садом, а сорняком. Ты понял, о чём я?

— О злости, — сказал Герам.

— О злости, — кивнула она.

— Моя злость — это моя. Ты можешь её чувствовать, но ты не должен за неё хвататься. Не должен делать её своей. Понял?

— Понял.

— Вот и славно. — Она улыбнулась — впервые за всё лето открыто, без горечи. — А теперь иди. Тебя Риши ждёт.

Герам встал, пошёл к калитке, обернулся.

— Баб Мауриньё, а как вас зовут? Не по прозвищу, а по-настоящему?

Она помолчала. Потом сказала:

— Маура. Меня зовут Маура. Запомнишь?

— Запомню.

Он вышел, а на завалинке осталась сидеть старая женщина, которая помнила времена, когда камни говорили, и которая впервые за много лет не боялась проснуться утром. Не потому, что её боль ушла, — она никуда не делась. Но теперь с ней рядом был кто-то, кто чувствовал эту боль и не убегал. Кто чувствовал её ярость и не осуждал, но и не подкармливал.

И этого было довольно.

Внутри Герама, там, где после миски теплились две светящиеся линии — на левой ладони и на груди, — теперь зажглась третья. Она была неровной, тусклой, но живой. Нота Мауры. Нота женщины, которая так долго носила в себе тоску и обиду, что забыла, как это — дышать без них. Но ещё в ней жила любовь — к тому, кто бросал яблоко девочке, и к яблоне, которая ждала. И где-то рядом с этой любовью, затаившись, пульсировала тёмная нота — нота правед-

ного гнева, которая не исчезла, но уснула. И Герам знал: она может проснуться. И будет просыпаться снова и снова.

Каждый раз, когда он столкнётся с чужой несправедливостью. Каждый раз, когда захочет не исцелить, а наказать.

И каждый раз ему придётся делать выбор.

Он нёс это теперь в себе. И знал: это не груз. Это нить. Часть узора, который он только начинал ткать — с тёмными и светлыми стежками, с ошибками и с прощением.

Косточка от той черешни так и осталась лежать в щели между половицами в доме бабки Мауры. Герам иногда думал о ней. И казалось ему: когда-нибудь, очень не скоро, она прорастёт. Новым деревом. Новым садом. Новой тишиной, в которой будет слышно всё — и боль, и ярость, и любовь.

И этого будет довольно.

Глава 3.

Время как терпение

1. Храм

Храм не был виден из-за леса.

Герам шёл весь день и весь вечер, и когда деревья наконец расступились, он ожидал увидеть башни, уходящие в небо, или стены, сложенные из светящегося камня, или хотя бы купол, который видно за много вёрст. Вместо этого перед ним открылась поляна. Старая, заросшая мятой и низкой, примятой ветром травой. В центре стояло здание — низкое, приземистое, сложенное из серого камня, который, казалось, врос в землю, а не был поставлен на неё. Крыша была покрыта мхом, и только тонкая струйка дыма над трубой говорила: здесь живут.

Никто не вышел встречать. Ни стражник, ни служка.

Только дверь была приотворена — узкая щель, из которой пахло сушёными яблоками, старым деревом и воском.

Герам толкнул дверь.

Внутри было тихо. Не пусто — именно тихо, той самой тишиной, которая тяжела и полна, как старое одеяло. Где-то за стеной потрескивал огонь. Свет падал из единственного окна, перекрещенного старым плющом, и лежал на каменном полу золотыми полосами. В углу стояла глиняная кружка — простая, без росписи, с выщербленным краем. Та самая. Герам узнал её сразу, хотя никогда прежде не видел.

— Ты всё-таки пришёл, — сказал Риши.

Он сидел у дальней стены, почти невидимый в тени, и что-то держал на коленях — кажется, глиняный шар. Герам не заметил его сразу, но голос прозвучал так спокойно и буднично, будто они расстались не неделю назад, а сегодня утром.

— Пришёл, — сказал Герам. — Ты сказал — приходите, когда голова перестанет болеть. Она перестала.

— Тогда поешь. — Риши кивнул на стол, где стояла глиняная миска с чем-то горячим. От миски поднимался пар, пахнувший чечевицей и мятой. — Дорога была долгой, а следующая будет ещё дольше.

Герам сел. Еда была простой, но горячее, и он ел молча, а Риши молчал вместе с ним. Это было странное молчание — не неловкое, а скорее испытующее. Как будто старик слушал не слова, а что-то другое: как Герам дышит, как двигает ложкой, как смотрит по сторонам.

Когда миска опустела, Риши поднялся.

— Ты хочешь знать, что с тобой случилось, — сказал он. — Когда ты собрал миску. Почему ты пролежал три дня без сознания.

— Хочу.

— Тогда пойдём. — Риши взял со стола кружку с выщербленным краем, отпил из неё и поставил обратно. Воды в кружке не убавилось ни на глоток. — Я покажу.

Он направился к дальней стене, туда, где Герам не заметил двери. Но дверь была — низкая, арочная, почти сливающаяся с камнем. За ней начинался спуск. Ступени уходили в темноту, и оттуда тянуло холодом, но не тем холодом, что на поверхности, а другим — старым, терпеливым, который помнил времена, когда над этим местом ещё не было ни Храма, ни леса, ни даже самой земли.

— Это Лабиринт? — спросил Герам.

— Его преддверие, — ответил Риши, начиная спускаться. — Колодец Мортиса. Когда-то здесь хоронили тех, кто не прошёл испытание. Теперь здесь учатся те, кто хочет пройти.

Герам ступил на первую ступень, и холод тут же обвился вокруг щиколоток. Он сжал в кармане амулет — тёплый, как всегда, — и пошёл следом.

2. Колодец Мортиса

Ступени кончились. Коридор сузился.

Сначала Герам не заметил перемены. Он просто шёл за Риши, держась правой рукой за стену, и стена была обычной — шершавый камень, местами влажный, местами сухой. Но потом воздух стал меняться. Он делался плотным — не душным, а именно плотным, как будто каждый вдох нужно было проталкивать сквозь невидимую толщу.

Герам шагнул ещё раз — и нога поехала назад.

Это было так неожиданно, что он чуть не упал. Каменный пол, только что ровный и твёрдый, вдруг стал будто наклонённым под гору, хотя глаза говорили: никакого наклона нет.

Герам попытался сделать ещё шаг, и его снова повело назад — мягко, но неумолимо, словно невидимая рука легла на грудь и тихо, без злобы, отодвинула его.

— Не борись, — сказал Риши.

Он стоял чуть впереди, опираясь на посох, и его голос звучал низко, растянуто, будто каждое слово добиралось до Герама на пару мгновений дольше, чем следовало.

В темноте блеснул серебряный шрам на сгибе ладони — единственный источник света, кроме того, что сочился из стен.

— Здесь всё борется, — продолжал Риши, — и от этого борьба становится только тяжелее.

Герам выпрямился, цепляясь за стену.

Стена была тёплой. Не холодной, как камень наверху, а именно тёплой, и она чуть вибрировала под пальцами, как бок огромного спящего зверя.

С кончиков пальцев сорвалась крошечная искра — из тех, что он теперь всегда носил в себе, — и поплыла по воздуху.

Герам смотрел на неё и вдруг понял: она движется слишком медленно.

Не как пылинка в солнечном луче. Не как снежинка в безветренный день. А как осенний лист, упавший в густой мёд, — каждое движение различимо, каждая дрожь видна, и между началом движения и его завершением проходит целая вечность.

— Почему она так... — он не находил слова. — Такая медленная?

— Потому что здесь много памяти, — Риши подошёл ближе и положил ладонь на стену. — В этом камне, в этом воздухе, в каждой пылинке — сотни лет разговоров, криков, песен, последних вдохов. Те, кто не прошёл. Те, кто остался здесь навсегда. Они все пытаются дойти до цели. Им нужно время, чтобы принять друг друга. Поэтому время здесь течёт иначе. Не потому что оно сломалось. А потому что ему слишком многое нужно обработать.

Герам попытался сделать ещё шаг, и невидимая тяжесть снова толкнула его назад. Но теперь он не боролся. Он стоял и чувствовал, как что-то тянет его — не к полу, а вглубь коридора, к далёкому, невидимому центру.

— А эта тяжесть? — спросил он. — Это ведь не просто притяжение.

— Нет. — Риши обернулся, и Герам увидел его глаза — не старые, не молодые, а какие-то вне-временные, как у птицы или у дерева. — Это тоска.

Герам замер.

— Тоска?

— По дому. — Старик вздохнул и провёл пальцем по воздуху, оставляя за собой золотой след, похожий на трещинку в реальности. — Когда-то всё это, — он обвёл рукой коридор, камень, пыль, вибрирующий воздух, — было частью единого целого. Искры, вырвавшиеся из трещины. Ты слышал эту историю у костра. Но ты, может быть, не понял главного.

Каждая искра несла в себе две половины — стремление и покой. И когда некоторые искры отклонились, когда их стремление или покой пересилили друг друга, они потеряли связь с целым.

Они выпали.

И теперь каждая частица здесь хочет вернуться. Неосознанно. Бессловесно.

Как ребёнок, который потерял мать в толпе и бежит, сам не зная куда.

Он указал на пол, туда, где Герам чувствовал странное притяжение.

— То, что ты ощущаешь как тяжесть, — это их бег. Бег в никуда. Они тянутся друг к другу и не могут слиться. Потому что мешает то самое первичное отклонение. Мешает разница. И от невозможности полного слияния рождается сила. Ты называешь её гравитацией. Они — разлукой.

Герам стоял, не двигаясь. Искра всё ещё плыла перед его лицом, но теперь он видел в ней не свет. Он видел крохотную, дрожащую сущность, которая пыталась осмыслить всё, что с ней случилось. Падение с костра. Путь по коридору. Тепло его ладони. Холод камня. Голос Риши, который звучит медленно не потому, что старик тянет слова, а потому, что слова доходят до искры дольше, чем до ушей. Искра не просто летела — она помнила. Обработывала. Ждала.

— Чем больше ей нужно понять, — прошептал Герам, глядя на искру, — тем медленнее она живёт.

— И тем дольше она добирается до дома, — кивнул Риши. — Время — это не река, Герам. Это терпение. Терпение, с которым каждое отклонившееся существо обрабатывает свой путь обратно.

Он снял с пояса флягу и плеснул немного воды на ладонь. Вода не пролилась сквозь пальцы — она собралась в дрожащий шар, подрагивающий, готовый упасть, но удерживаемый невидимой силой. Как всегда бывает, когда попадаешь в зону сильной гравитации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.